

МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

5

1960

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОПЭ)

Я. БЕРГЕР

Написанное и недосказанное

К СТОЛЕТИЮ ЧЕХОВА

В творчестве и личности Чехова поневоле ищешь прежде всего то, что составляет его новизну и своеобразие, его секрет глубокой индивидуальности в большой русской литературе. Достоевский, Толстой, Тургенев были людьми и писателями законченного, абсолютного мировоззрения, определенной моральной, нравственной концепции, хотя, конечно, форма и содержание этой концепции могли и должны были претерпевать в их жизни, с течением времени, те или иные изменения.

Трудность категорической социальной трактовки Чехова — в отсутствии у него этого осязаемого стержня, расплывчатость или, точнее, мнимость и абберация взглядов на людей и эпоху, на зло и добро. И может быть, как раз в этом — его свежесть и новизна, его творчески-индивидуальная манера. В этом, может быть, секрет необычайной близости и современности Чехова, его видимой адекватности нынешнему, в частности, западному искусству. Вместе с тем, в этом нарочито подчеркнутом безразличии к установленным или установившимся взглядам, в естественной эклектичности взглядов, в великом многообразии чеховских возможностей, одним словом, в его полной внутренней свободе — источник возможности «модернизации» Чехова и приспособления его к потребностям советского социализма.

«Через двести лет земля будет цветущим садом!» — восклицают на сцене чеховские интеллигенты, по существу не только ничего как следует не видящие и ни к чему не приспособленные, но может быть даже и брезгливо безразличные к непосредственно их окружающему. Вот эту иронически мягкую, трогательную, светло-розовую, по-чеховски безнадежную краску вечернего заката, — ее-то

и приходится грубыми пальцами размазывать нынешним идеологам, слепым или жестоким, во всяком случае, утратившим вкус к поэзии. Чтобы изобразить Чехова не только вольнодумцем и обличителем, но даже и бунтарем, «несознательным» социалистом-анархистом по типу, может быть, Бакунина или Чернышевского.

Продолжать в этом духе трудно. Времена меняются, а с ними меняется и предисловие к Чехову. Один из талантливых советских писателей в связи со 100-летием со дня рождения Чехова с какой-то удивительной непосредственностью и с откровенным удивлением заметил, что Чехов, вопреки всему, что принято говорить, предстает перед ним, как убежденный эпикуреец, завязанный женолоб, как чувственная и восторженная натура. А классический «социалистический» Чехов, по словам этого писателя, был аскетичным суровым пророком, неустанно, в поте лица, бичевавшим язвы капиталистического общества конца 19-го и начала 20-го века. И заодно свою собственную плоть, ради будущего, после 1917 года, социального прогресса.

Если пытаться как-то «классифицировать» Чехова, то, может быть, его скорее следовало бы назвать интеллектуалом-западником первой половины 20-го века, своим появлением как бы преградившим широкий и мощный поток русской литературы, с ее социально-христианской направленностью. С Чеховым, на арене большого искусства, появилась новая, динамически собранная, кинематографическая форма отражения жизненных контрастов и взглядов. Форма, которая в конце концов опирается не на идею, заключенную в материале, а на видимое впечатление от самого этого материала, т. е. в конечном счете на очень широко понятую красоту всего жизненного спектра.

Осенняя грусть и яркое молодое счастье, немислимая косность и суматошная людская разбросанность — у Чехова это не закономерность и не следствие внутренних или каких-то (скажем, социально) интерпретированных процессов. Это просто — разговор от души к душе, в чем бы он, этот разговор, не выражался: в оттенках или полутонах, в необъяснимой странности человеческих характеров или в неожиданных нюансах бытового пейзажа.

С Чеховым русская литература все настойчивее обращается к самой этой игре нюансов на странице книги, — а по существу к тому спутанному и случайному, и к тому все же прекрасному в своем видимом хаосе, чем становилась сама жизнь в глазах людей 20-го века. Тонкая подчеркнутость ритма (может быть, только ритма), рисунок до предела отточенным карандашом на фоне колеблющегося, угасающего полусвета, — это тот Чехов, который вошел в мир искусства вместе с Монэ и Ренуаром, французами, подарившими ис-

куству неповторимые краски, — краски, которыми светится человеческая грусть, его сердце.

И хотя на родине Чехова принято теперь говорить, что Чехов как-то и что-то отрицал, или даже противостоял окружавшей его действительности, вернее было скорее обратное. Чехов любил эту действительность, как может любить один художник, человек, глубоко чувствующий ее краски, ее контрасты, ее фон и ее перспективу, воспринимающий всем существом своим и безбрежное море молодого счастья, и спокойную иронию смерти.

Смерть в хмурый осенний день одинокого человека в калошах или похороны мелкого начальника, по ошибке принятого за другого, такого же, как и он. . . Вот на таком зыбком дождливом фоне — временами, как недолгая радуга, возникали мечты добрых и беспомощных людей о счастье, о будущем разумном и красивом устройстве. Возникали, как глубокая ирония и контраст, как утверждение факта жизни и ее единственного исхода.

И все-таки порой кажется, что еще более чеховское — это его молодые, светло и совершенно безмятежно голубые, как первый сентябрьский день, «дачные» миниатюры. В них как бы ощущаешь просторное и свежее дыхание начала осени. Веранда с плетеным креслом и тинистое, зеленоватое, неподвижное озеро за оградой сада. Людям, кажется, пора уезжать с этой деревянной дачи, и потому они особенно ко всему прислушиваются. А много видевший, и от этого, может быть, несколько насмешливый хозяин рассказывает мягким вкрадчивым голосом о милых дачных происшествиях, о соседних барышнях и о местных чудаках-рыболовах. О чем бы он ни рассказывал, — все приобретает какую-то особую прелесть от самого его голоса, оттого, что на задумчивом озере — вечерний закат, и потому, что все-таки в этих самых ничтожных по виду и смешных происшествиях — неповторимая прелесть временного дачного сезона, — той жизни, от которой вот-вот придется отказаться.

К слову сказать: то, что совершенно невозможно — это чему-нибудь научиться у Чехова. Невозможно потому, что для этого нужна и старая дача, и компания, где хорошее слово любят ради него самого, где и не требуют от жизни, да еще насильственно, ничего такого, чего в ней нет, — ее только любят, эту жизнь, ради нее самой, и умеют любить. . .

«Как-будто умный человек пришел и сказал людям: Скучно вы живете! . .» — написал как-то о нем Горький. И действительно, Чехов это сказал. Но вышло так, что он не только сказал тогда, но и потом, в куда более безотрадные и более скудные времена, помогал людям несколько приподняться, посмеяться над этой скукой. И ощутить утешение и новые надежды.